

Книга третья

Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек,
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как-то мне все мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — донских казаков.
Размываются без них мои круты бережки,
Высыпаются без них косы желтым песком».

Старинная казачья песня

Часть шестая

I



В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики северных округов — Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхнедонского — пошли с отступавшими частями красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области.

Хоперцы ушли с красными почти поголовно, усть-медведицкие — наполовину, верхнедонцы — лишь в незначительном числе.

Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкаска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом.

Даже в позднейшие времена, когда все Войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атаманами, трясли царевы устои: бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье.

К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. После того как явственно наметилась необходимость создания областной власти, руководящими чинами боевых групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать Круг. На 28 апреля в Новочеркас-

ске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей.

На хуторе Татарском была получена от вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что в станице Вешенской 22-го сего месяца состоится станичный сбор для выборов делегатов на Войсковой круг.

Мирон Григорьевич Коршунов прочитал на сходе бумагу. Хутор послал в Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелея Прокофьевича.

На станичном сборе в числе остальных делегатов на Круг избрали и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск (Миرونу Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерове керосину, мыла и еще кое-чего по хозяйству, да, кстати, хотел и подработать, закупив Мохову для мельницы сит и баббиту).

Выехали на зорьке. Бричку легко несли вороные Мирона Григорьевича. Сваты рядом сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились; в Миллерове стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без опаски:

— А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им дышину!

— Нет, — уверил Пантелей Прокофьевич. — Матвей Кашулин надьсь был там, гутарил — робеют немцы... Опасаются казаков трогать.

— Ишь ты! — Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень борода и поиграл вишневым кнутовищем; он, видно успокоившись, перевел разговор: — Какую же власть установить, как думаешь?

— Атамана посодим. Своего! Казака!

— Давай бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Чтoб без браку был.

— Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон.

— Так, так, сваток... Их и дураков не сеют — сами родятся. — Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его веснушчатое лицо. — Я своего Митьку думал в люди вывести, хотел, чтоб на офицера учился, а он и приходской не кончил, убег на вторую зиму.

На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку лихорадило по кочковатой дороге; правый

вороной засекался, щелкая нестертой подковой; качалась люлька, и, как рыбы на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты.

— Гдей-то наши казаки? — вздохнул Пантелей Прокофьевич.

— Пошли по Хопру. Федотка Калмык вернулся из Кумылженской, конь у него загубился. Гутарил, кубыть, держут шлях на Тишанскую станицу.

Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за Доном, на розовом костре зари величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого сотового меда лежало песчаное взгорье, верблюжьки горбы бурунов скупно отсвечивали бронзой.

Весна шла недружно. Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густо-зеленым опереньем, зацвела степь, сошла полая вода, оставив в займище бесчисленное множество озер-блесток, а в ярах под крутыми склонами еще жался к суглинку изъезденный рустепелью снег, белел вызывающе-ярко.

На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово, заночевали у знакомого украинца, жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд и тут первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландшафтurmистов шли ему наперерез. Один из них, мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, позывно махнул рукой.

Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойно и выжидающе жуя губами. Немцы подошли. Рослый упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу:

— Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже в казачьей форме! Его сыновья, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет прелюбопытнейший экспонат!

— Нам нужны его лошади, а он пусть идет к черту! — без улыбки ответил клешнятый, с каштановой бородой.

Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке.

— Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади — перевезти вот с этой мельницы к вокзалу партию муки. Ну же, слезай, тебе говорят! За лошадьми придешь к коменданту. — Немец указал глазами на мельницу и жестом, не допускавшим сомнений в назначении его, пригласил Мирона Григорьевича сойти.

Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся иссера-желтым румянцем. Намотав на

грядущку люльки вожжи, он молодо прыгнул с брички, зашел наперед лошадям.

«Свата нет, — мельком подумал он и похолодел. — Заберут коней! Эх, врьюхался! Черт понес!»

Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтобы шел к мельнице.

— Оставь! — Мирон Григорьевич потянулся вперед и побледнел заметней. — Не трожь чистыми руками! Не дам коней.

По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот, оголив иссиня-чистые зубы, — зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и крикливо. Немец взялся за ремень висевшей на плече винтовки, и в этот миг Мирон Григорьевич вспомнил молодость: бойцовским ударом, почти не размахиваясь, ахнул его по скуле. От удара у того с хряском мотнулась голова и лопнул на подбородке ремень каски. Упал немец плашмя и, пытаясь подняться, выронил изо рта бордовый комок сгустелой крови. Мирон Григорьевич ударил еще раз, уже по затылку, зиркнул по сторонам и, нагнувшись, рывком выхватил винтовку. В этот момент мысль его работала быстро и невероятно четко. Поворачивая лошадей, он уже знал, что в спину ему немец не выстрелит, и боялся лишь, как бы не увидели из-за железнодорожного забора или с путей часовые.

Даже на скачках не ходили вороные таким бешеным намётом! Даже на свадьбах не доставалось так колесам брички! «Господи, унеси! Ослобони, господи! Во имя отца!..» — мысленно шептал Мирон Григорьевич, не снимая с конских спин кнута. Природная жадность чуть не погубила его: хотел заехать на квартиру за оставленной полстью; но разум осилил — повернул в сторону. Двадцать верст до слободы Ореховой летел он, как после сам говорил, шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскочил к знакомому украинцу и, ни жив ни мертв, рассказал хозяину о происшествии, попросил укрыть его и лошадей. Украинец укрыть укрыл, но предупредил:

— Я сховаю, но як будуть дуже пытать, то я, Григорич, укажу, бо мэни ж расчету нэма! Хатыну спалють, тай и на мэна наденуть шворку.

— Уж ты укрой, родимый! Да я тебя отблагодарю, чем хошь! Только от смерти отведи, схорони где-нибудь — овец пригоню гурт! Десятка первеющих овец не пожалею! — упрашивал и сулил Мирон Григорьевич, закатывая бричку под навес сарая.

Пуще смерти боялся он погони. Простоял во дворе у украинца до вечера и смылся, едва смерклось. Всю дорогу от Ореховой скакал по-оглашенному, с лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тарахтела так, что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижне-Яблоновским. Не доезжая его, изпод сиденья достал отбитую винтовку, поглядел на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, облегченно крикнул:

— А что — догнали, чертовы сыны? Мелко вы плавали!

Овец украинцу так и не пригнал. Осенью побывал проездом, на выжидающий взгляд хозяина ответил:

— Овечки-то у нас попередохли. Плохо насчет овечков... А вот груш с собственного сада привез тебе по доброй памяти! — Высыпал из брички меры две избитых за дорогу груш, сказал, отводя шельмовские глаза в сторону: — Груши у нас хороши-расхороши... улежалые... — И распрощался.

В то время, когда Мирон Григорьевич скакал из Миллерова, сват его торчал на вокзале. Молодой немецкий офицер написал пропуск, через переводчика расспросил Пантелея Прокофьевича и, закуривая дешевую сигару, покровительственно сказал:

— Поезжайте, только помните, что вам необходима разумная власть. Выбирайте президента, царя, кого угодно, лишь при условии, что этот человек не будет лишен государственного разума и сумеет вести лояльную по отношению к нашему государству политику.

Пантелей Прокофьевич посматривал на немца довольно недружелюбно. Он не был склонен вести разговоры и, получив пропуск, сейчас же пошел покупать билет.

В Новочеркасске поразило его обилие молодых офицеров: они толпами расхаживали по улицам, сидели в ресторанах, гуляли с барышнями, сновали около атаманского дворца и здания судебных установлений, где должен был открыться Круг.

В общежитии для делегатов Пантелей Прокофьевич встретил нескольких станичников, одного знакомого из Еланской станицы. Среди делегатов преобладали казаки, офицеров было немного, и всего лишь несколько десятков — представителей станичной интеллигенции. Шли неуверенные толки о выборе областной власти. Ясно намечалось одно: выбрать должны атамана. Назывались популярные имена казачьих генералов, обсуждались кандидатуры.

Вечером в день приезда, после чая, Пантелей Прокофьевич присел было в своей комнате пожевать домашних харчишек. Он

разложил звено вяленого сазана, отрезал хлеба. К нему подсели двое мигулинцев, подошли еще несколько человек. Разговор начался с положения на фронте, постепенно перешел к выборам власти.

— Лучше покойного Каледина — царство ему небесное! — не сыскать, — вздохнул сивобородый шумилинец.

— Почти что, — согласился еланский.

Один из присутствовавших при разговоре, подьесаул, делегат Бессергеновской станицы, не без горячности заговорил:

— Как это нет подходящего человека? Что вы, господа? А генерал Краснов?

— Какой это Краснов?

— Как, то есть, какой? И не стыдно спрашивать, господа? Знаменитый генерал, командир Третьего конного корпуса, умница, георгиевский кавалер, талантливый полководец!

Восторженная, захлебывающаяся речь подьесаула взбеленила делегата, представляющего одной из фронтовых частей:

— А я вам говорю фактично: знаем мы его таланты! Никудышный генерал! В германскую войну отличался неплохо. Так и захряс бы в бригадных, кабы не революция!

— Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак?

Подьесаул уничтожающе цедил ледяные слова, и казак растерялся, оробел, тушуясь, забормотал:

— Я, ваше благородие, говорю, как сам служил под ихним начальством... Он на астрицком фронте наш полк на колючие заграждения посадил! Потому и считаем мы его никудышным... А там кто его знает... Может, совсем навыворот...

— А за что ему Георгия дали? Дурак! — Пантелей Прокофьевич подавился сазаньей костью; откашлявшись, напал на фронтовика: — Понабрались дурацкого духу, всех поносите, все вам нехороши... Ишь какую моду взяли! Поменьше б гутарили — не было б такой разрухи. А то ума много нажили. Пустобрехи!

Черкасня, низовцы горой стояли за Краснова. Старикам был по душе генерал — георгиевский кавалер; многие служили с ним в японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Краснова: гвардеец, светский, блестяще образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества. Либеральную интел-

лигенцию удовлетворяло то обстоятельство, что Краснов не только генерал, человек строя и военной муштровки, но как-никак и писатель, чьи рассказы из быта офицерства с удовольствием читались в свое время в приложениях к «Ниве»; а раз писатель, — значит, все же культурный человек.

По общежитию за Краснова ярая шла агитация. Перед именем его блекли имена прочих генералов. Об Африкане Богаевском офицеры — приверженцы Краснова — шепотком передавали слухи, будто у Богаевского с Деникиным одна чашка-ложка, и если выбрать Богаевского атаманом, то, как только похерят большевиков и вступят в Москву, — капут всем казачьим привилегиям и автономии.

Были противники и у Краснова. Один делегат-учитель без успеха пытался опорочить генеральское имя. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито, по-комариному звенел в заволосатевшие уши казаков:

— Краснов-то? И генерал паршивый, и писатель ни к черту! Шаркун придворный, подлиза! Человек, который хочет, так сказать, и национальный капитал приобрести, и демократическую невинность сохранить. Вот поглядите, продаст он Дон первому же покупателю, на обчин! Мелкий человек. Политик из него равен нулю. Агеева надо выбирать! Тот — совсем иное дело.

Но учитель успехом не пользовался. И когда 1 мая, на третий день открытия Круга, раздались голоса:

— Пригласить генерала Краснова!

— Милости...

— Покорнейше...

— Просим!

— Нашу гордость!

— Нехай придет, расскажет нам про жизнь! — весь обширный зал заволновался.

Офицеры басисто захлопали в ладоши, и, глядя на них, неумело, негромко стали постукивать и казаки. От черных, выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать — даже неприятный, глубоко противоположный той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры.

А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец генерал, в мундире, с гус-

тым засевам крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, — зал покрылся рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом генерале, с растроганным и взволнованным лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи.

Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки, утирку. «Вот это — генерал! Сразу видать, что человек! Как сам император, ажник подходимей на вид. Вроде аж шибается на покойного Александра!» — думал он, умиленно разглядывая стоявшего у рампы Краснова.

Круг — названный «Кругом спасения Дона» — заседал неспешно. По предложению председателя Круга, есаула Янова, было принято постановление о ношении погонов и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувствованно говорил о «России, поруганной большевиками», о ее «былой мощи», о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков:

— Державный Войсковой круг будет править Донской областью! Казачество, освобожденное революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в старину наши предки, скажем полновзвучным, окрепшим голосом: «Здравствуй, белый царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону!»

3 мая на вечернем заседании ста семью голосами против тридцати и при десяти воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войскового есаула, поставив условия: утвердить основные законы, предложенные им Кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти.

— Страна наша накануне гибели! Лишь при условии полного доверия к атаману я возьму пернач. События требуют работать с уверенностью и отрядным сознанием исполняемого долга, когда знаешь, что Круг — верховный выразитель воли Дона — тебе доверяет, когда, в противовес большевистской распушенности и анархии, будут установлены твердые правовые нормы.

Законы, предложенные Красновым, представляли собою наспех перелицованные, слегка реставрированные законы прежней империи. Как же Кругу было не принять их? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее: синяя, красная и желтая продольные полосы (казаки, иногородние, калмыки), и лишь правительственный герб, в угоду казачьему духу, претерпел радикальное изменение: взамен хищного двуглавого орла, распростершего крылья и расправившего когти, изображен был нагой казак в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке.

Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос:

— Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах?

Краснов, милоство улыбаясь, разрешил себе побаловаться шуткой. Он обещающе оглядел членов Круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил:

— Могу. Статьи сорок восьмую, сорок девятую и пятидесятую — о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любой флаг — кроме красного, любой герб — кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн — кроме «Интернационала».

Смеясь, Круг утвердил законы. И после долго из уст в уста переходила атаманская шутка.

5 мая Круг был распущен. Отзвучали последние речи. Командующий Южной группой, полковник Денисов, правая рука Краснова, сулил в самом скором времени вытравить большевистскую крамолу. Члены Круга разъезжались успокоенные, обрадованные и удачным выбором атамана, и сводками с фронта.

Глубоко взволнованный, начиненный взрывчатой радостью, ехал из донской столицы Пантелей Прокофьевич. Он был неколебимо убежден, что пернач попал в надежные руки, что вскоре разобьют большевиков и сыны вернуться к хозяйству. Старик сидел у окна вагона, облокотившись на столик; в ушах еще полоскались прощальные звуки донского гимна, до самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в самом деле понастоящему «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон».

Но, отъехав несколько верст от Новочеркасска, Пантелей Прокофьевич увидел из окна аванпосты баварской конницы. Группа